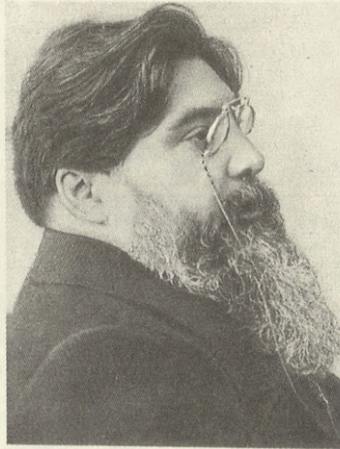


Александр Амфитеатров

Честь служить Москве

В 1893 году, ровно сто лет тому назад, был убит Николай Александрович Алексеев — легендарный московский городской голова. Он был убит в им же построенном здании Городской думы, более известном нашим современникам, как Музей Ленина. Впрочем, это здание не единственное, чем обогатил Москву Н. А. Алексеев. Он разбил Александровский сад на месте заболоченного пустыря, построил 10 больниц, 30 училищ, проложил первые метры московского асфальта. При Алексееве город обрел водопровод и началась прокладка канализации. Николай Александрович был для Москвы не только администратором. Именно ему, душеприказчику С. М. Третьякова, мы



Александр Валентинович Амфитеатров

обязаны открытием Третьяковской галереи. Он — друг Н. Г. Рубинштейна, создателя Московской консерватории, был еще и директором Московского отделения Российского музыкального общества. Этот пост после избрания его городским головой Николай Александрович уступил своему двоюродному брату Константину Сергеевичу Алексееву (Станиславскому), будущему основателю Художественного театра.

Мы предлагаем читателю очерк современника Н. А. Алексеева, Александра Валентиновича Амфитеатрова, талантливого писателя и популярного фельетониста, не раз ссылавшегося царским правительством за свое острое сатирическое перо.

В чудесный мартовский день 1893 года въезжаю я во двор «палаццо» одного московского издателя. Двор огромный; песок сверкает на солнце. Издателевы дети кружат на велосипедах и кричат мне навстречу:

- Папы дома нет!
 - Вот тебе раз! Куда же он уехал? Сам назначил мне этот час.
 - И ждал вас, да уехал — просил извинить. Потому что очень любопытно: городского голову застрелили.
 - Что такое?
 - Убили городского голову.
 - Алексеева?!
 - Ну, да... Один у нас городской голова.
 - Быть не может!
 - Вот все, кому ни скажем, также удивляются.
 - Да кто же? как? когда? где?
- Прямо точно обухом по темени!.. Я не был знаком с Алексеевым лично, кроме как поклонами, но интересовался им больше, чем кем-либо другим в Москве... И вдруг его убили... зачем? за что? Я поворотил из-

возчика и помчался в думу. Толпа народа: шумят, спорят, разводят руками... Кто-то выходит, глаза заплаканы, говорит:

— Умирает...

Встретил знакомых репортеров — рассказали, как было дело. Ясно: застрелен без надежды на выздоровление.

Толпа хмурилась, гудела и недоумевала. Алексеев умер. Умер, застреленный в самом сердце Москвы, которую он так любил, которой так много благодетельствовал, за которую так долго лил свой трудовой пот, а потом и кровь пролил. Умер — в здании, им же сооруженном; в новой думе, в центре новой Москвы, им начатой, им созидаемой. Если бы пред кончиною у Н. А. Алексеева хватило бы силы взглянуть из окон его смертного покоя на сиротевшую Москву, он мог бы почти с таким же правом, как древний римлянин, воскликнуть:

— Я застал ваш город деревянным, а оставляю его каменным...

Алексеев умер смертью настолько неожиданною, нелепою, почти сверхъестественно дикою, что я, подобно большинству москвичей, долго не мог опомниться от впечатления ужасного события — преступления

или полоумной случайности,— так, правду сказать, и не решило толком следствие.

Умер он в то самое время, когда он в четвертый раз готовился стать на выборную очередь. Выборы ждались жестокие: на кандидатуре в гласные Н. А. Алексеев прошел всего пятьюдесятью четырьмя голосами. Против него была сбита большая оппозиционная партия, сильная не настолько, быть может, чтобы своротить вовсе напрочь алексеевское влияние, но все-таки способная отравить торжество «непогрешимого» головы

Свидетели показывают, что Адрианов (убийца — *Ред.*) по целым дням шатался по думским коридорам, как бы присматриваясь и приготавливая место для будущего преступления. В кармане его находят записку: «Прости, жребий пал на тебя!» Словом, все признаки предумышленности налицо. И публика, не соображая, что предумышленность предумышленности рознь, что большую, фиксированную на нелепой идее волю надо различать от воли злой, смущалась этими признаками и искала внешних объяснений



Московская городская дума

своим многоголосым протестом, компрометировать оценку его общественной деятельности облием черных шаров.

Вопрос о выборе городского головы, так обостренный, был упрощен, разрублен, как гордиев узел, избирателем, на кого никто не рассчитывал, о ком никто не думал не гадал, чьего вмешательства никто не чаял,— смертью.

Доктора Рот, Сербский и Кожевников признали убийцу психически аномальным. Публика в первое время плохо этому верила. Уж очень как-то чудно подтасовались факты. Человек приходит убивать не куда-нибудь в частное место, а в место общественной деятельности Алексеева, в думу; не когда-нибудь, а за час, за два до начала выборов, бурных, сомнительных, спорных, обостренных конкуренцией партий; стреляет не в кого-нибудь, а в главного героя этих выборов; заявляет, что личной вражды к Алексееву он не питает, что ему надо было кого-нибудь убить и он выбрал Алексеева.

факту. Сперва в убийстве Алексеева видели акт выборной агитации; потом от этого — чересчур американского и, слава Богу, совсем не в русских нравах — толкования перевели дело на почву политическую: объясняли его местью за участие Алексеева в качестве сословного представителя в одном из политических процессов недавнего прошлого, когда крутой московский голова подал голос за смертную казнь подсудимых. Потом прошел слух о какой-то романтической истории. А Адрианов тем временем плел ни с чем не сообразную чушь, ежеминутно меняя показания, прыгал мыслью от фразы к фразе, болтал о каком-то электричестве, магнетизме. Я уже тогда высказал мнение, что, всего вероятнее, это один из злополучных геростратиков, страдающих *mania grandiosa*, на отрицательной почве. «Велика Диана Эфесская!» — стало быть, надо сжечь ее храм.

И безумный человек идет и безумно стреляет, сам не понимая зачем... И другим клянется:

— Вам никогда не понять цели, ради чего я должен был это сделать...

Круг деятельности Н. А. Алексеева заключен был в границах московских застав, но он сумел привлечь к этим границам внимание положительно всей России. Его слова, его поступки обсуждались прессою и обществом даже в таких уголках Руси, которым, по отдаленности, нет, не было, да, вероятно, и долго не будет никакого дела до того, как живет Москва в своем городском хозяйстве. И интересовались не фактами, а общим характером деятельности и направлением молодого головы, его практической энергией, настойчивостью и решительностью в борьбе, тем обилием стыда настоящего и отсутствием стыда ложного, какими характеризуются только первоклассные общественные таланты. Он уважал общественное мнение и презирал общественную болтовню. Он ненавидел партийность и беспощадно давил оппозицию своим начинаниям, но охотно давал свободу здравому, толковому слову, когда оно преследовало не праздные-отвлеченные споры о сухих туманах, а цели, действительно, практические и насущные.

Что рано или поздно энергия Н. А. Алексеева вырвалась бы за пределы его московской деятельности, — несомненно. Это был первый российский купец, который проявил в себе, вместе с практической сметкой торгового коммерческого человека, задатки государственного мужа. Алексеев, едва ли не первый из представителей русской земщины, заставил заговорить о себе европейскую политическую печать, вообще мало интересующуюся и деятельностью, и деятелями нашего самоуправления. Это было после пресловутой речи Алексеева к покойному императору Александру Александровичу, с эффектной фразой о «кресте на св. Софии»... Исполняя царскую волю, Алексеев в голодный год вестником избавления промчался по голодным губерниям. Много труда положил он тогда — и труда бескорыстного, потому что он и в этом случае, как и всегда в своей жизни, работал не для наград. От них он даже уклонялся; так — он гордился своим купеческим званием и не желал дворянства, которое получить было нетрудно.

Смерть Алексеева застала Москву врасплох. Враги его много шумели о том, что пора сломить алексеевскую гордыню, пора сместить его и посадить в головы силу, более скромную, как личность, более умеренную, менее самовластную и более склонную соблюдать до мельчайших деталей букву, а не дух только земской конституции. Но разговоры разговорами, а на деле кандидата в преемники Алексееву не только не нашлось, но не было в первое время кого и предложить. Выбор К. В. Рукавишника,

как оказалось впоследствии, не слишком-то удачный, был лишь результатом *faute de mieux*. Предложенные записками, — каждый очень незначительным числом голосов, — кандидаты в городские головы, все, один за другим, от баллотировки отказались. Один из кандидатов, И. И. Шаховской, при жизни постоянный его оппонент, мотивировал свой отказ гласно и определено: нет никакого расчета самолюбивому человеку идти в московские городские головы, если он не хочет отдать всю свою частную жизнь общест-



Николай Александрович Алексеев — московский городской голова. Фото 1880-х гг. Из семейного архива Четвериковых

венной деятельности, запутать и расстроить свои личные дела ради дел городских, ширкарно сорить своим капиталом там, где даже ни закон, ни совесть не имели бы резона воспрепятствовать обратиться к общественным суммам, — например, в случаях представительства. Алексеев делал все это на такую широкую ногу, что после него было страшно становиться на его место, высоко поднятое им в общественной молве и представленное на вид, суд и критику всей России.

Скептики, неохочие видеть в своих современниках людей с талантами, выдающимися выше их собственного уровня, возражали:

— Отчего такой переполох? Из Москвы-реки воды не выпити, в Москве-городе людей не выбити. Найдется человек! Бог не без милости. Ведь и Алексеев выдвинулся ярко лишь с тех пор, как стал головой. А раньше кто его знал и кто чего путного от него ждал?

В том-то и дело, что за блестящею деятельностью Алексеева как городского головы позабыты энергические общественные труды его молодости.

Двадцати пяти лет Н. А. Алексеев был избран гласным по московскому уездному земству. Деятельность его в этом звании до сих пор памятна в управе. Он, молодой человек, почти юноша; буквально от *a* до *z* ворочал уездными делами, облегчая труд тогдашнего предводителя.

Право, трудно указать отрасли общественной деятельности, каких прямо или косвенно не затронула бы его неутомимо охочая до работы энергия. Красный Крест, Русское музыкальное общество, санитарное попечительство, Всероссийская художественно-промышленная выставка 1882 года, земство губернное с десятком комиссий, двигавшихся вперед, чуть ли не исключительно благодаря алексеевскому влиянию и настойчивости,— таково начало карьеры Н. А. Алексева. Он и в училищном совете сидит, и в воинском присутствии бушует, и коронационные праздники организует, и в земской управе оппозиционным фрондерством занимается, и Николая Рубинштейна хоронит, смущая публику зажженными днем, на парижский манер, уличными фонарями. В 1885 году Алексеев избран в городские головы. Он ревизует, реформирует, опекает, поддерживает сиротский суд, который было зачах в Москве. Что сиротский суд был в жалком положении, давным-давно все знали, но только покивали на него сожалительно головами и либо охали, либо острили. Суд прозбал, беспомощный и бесполезный. А Алексеев, с обычной своей прямолинейной простотой и быстротой, перетряхнул этот суд, уже готовый превратиться в труху и рухлядь, в какие-нибудь два-три месяца; сам взял на себя строго ответственную и сложную по обязанностям должность первоприсутствующего в сиротском суде — и в душу учреждения дряхлого, как кости на мертвом поле, повеяло жизнью. Десятки сирот нашли себе управу, защиту и опору там, где раньше они находили только проволоочки. Если бы не вмешательство Алексева, вопрос о психиатрической лечебнице московского губернского земства до сих пор лежал бы еще в пеленках. Алексеев в семь дней создал временную психиатрическую лечебницу на сокольнической даче Ноева и показал косной земской массе, что значит по-настоящему делать земское дело, не увлекаясь цветами красноречия и партийными словопрениями. Он был весь быстрота, стремительность и натиск, человек с глубокой верою в себя, в свою звезду и в свой талант.

Алексеев воюет в земстве за город, когда возник роковой вопрос о городском обложении, погубивший раз навсегда доброе согласие московского города с московской дерев-

ней. Алексеев в этом деле побежден; деревня одолела; но редко какой-либо победитель выходил из боя с таким почетом, как этот побежденный. Алексеев в голодную пору скупает хлеб на юге, раздает на севере. Все это, по обыкновению, быстро, практично, целесообразно, без дальних слов, без лишнего фраз. Одною из замечательных способностей Алексева было его умение быстро применяться ко всякому делу, за которое ему приходилось браться. У него сидел в уме какой-то прозорливый демон, приспособленный к тому, чтобы по первому взгляду на вопрос хватать быка за рога, забираться в самую житейскую суть дела, освещать его так ново, резонно, умно и оригинально, что сразу выяснялись для публики многие темные уголки на изнанке вопроса, до тех пор остававшиеся незамеченными. Ни к какому делу, за которое Алексеев брался, он не относился равнодушно, спустя рукава. Формальное «отзвонил и с колокольни долой» было ему совершенно чуждо.

Когда скончался Н. А. Алексеев, я говорил, полушутя, полусерьезно, что с ним для Москвы, в миниатюре, повторится та же история, какою Екатерина Вторая характеризовала значение Петра Великого для России. При каждом новом начинании Екатерина приказывала справиться в архивах, не задумал ли чего-нибудь в этом роде Петр, и каждый раз оказывалось, что да, было: задумывал, предполагал и располагал. Так и с Алексеевым. Долго еще москвичи при каждом своем дельном общественном предприятии будут наталкиваться на имя этого человека.

Николая Александровича Москва хоронила с почестями, какие редко выпадают на долю общественных деятелей не только у нас, в России, но и за границей. Громадный белый думский зал позеленел под венками, которыми его увешали депутаты общественных и частных учреждений и корпораций города Москвы. Таких похорон Москва не видела после того печального торжества, когда она всенародно переносила на Рязанский вокзал прах безвременно погибшего Скобелева. Говорят, будто толпа похоронной процессии достигала до двухсот тысяч человек. Речей на могиле не было произнесено. Да и что было говорить? У этой могилы надо было не разглагольствовать, а просто махнуть рукой на жестокий каприз судьбы и молча отойти с обидой и горем в оскорбленной душе. Нужны были не слова, а слезы. И слез было много. И хороших, искренних, от сердца идущих слез. Плакивали Алексева дружно и приятели его, и враги. Недаром же во время его болезни многие из заклятых принципиальных оппозиционеров алексеевской «политики» проводили все свое время у постели больного, с тревогой и надеждой следя за ходом его недуга.

Хорошо ли лечили Алексева? Не было ли возможности поднять его на ноги? Конечно,

хорошо. Разумеется, не было. В смысле медицинской помощи для Алексеева было сделано все, что возможно. У постели больного стояли Склифосовский, Остроумов, Черин, Клейн, Клин.

Но от такой раны никто еще никогда не выздоравливал. Такою раною Дантес отправил на тот свет Пушкина...

Я не был знаком с Алексеевым в его частной жизни и личных впечатлений от него, вне залы заседаний, не имею. Слухов было и есть множество, но слухи всегда — или сплетни врагов, или безудержные дифирамбы друзей. Что Алексеев был человеком очень добрым, за это ручается его широкая благотворительная деятельность. Через его руки русская беднота получила свыше трех миллионов пожертвований. Когда дело касалось благотворительности или общепользующего предприятия, Алексеев умел обуздать даже свое громадное самолюбие. Ему нужны были 300 000 рублей на психиатрическую больницу.

— Я тебе, голова, их дам; только ты мне в ноги поклонись... — говорит Алексеев самодур купчина, бывший приказчик отца Алексева.

— Изволь, кланяюсь! — отвечает Алексеев — и поклонился.

Как хотите, смейтесь или не смейтесь над этим поклоном, а он, по-своему, похож на знаменитое «Париж стоит одной мессы».

Н. А. Алексеев был человеком более чем богатым — одним из крупнейших московских капиталистов. Своим собственным коммерческим делом он распоряжался мастерски. Приемы ведения коммерческого дела он отчасти переносил и в дела общественные. Город под его рукою стал как бы крупным коммерсантом, положившим свои судьбы на страх и риск Алексеева, как своего приказчика на отчете, но с полной доверенностью от хозяина. И я думаю, что капитал и здоровое ведение личных дел играли не последнюю роль в том доверии, с каким шла за Алексеевым купеческая и мещанская масса. «Мол, этого на кривой не объедешь... Человек коммерческий, солидный, все пути и выходы знает. Слово у него твердое, на репутации никакой «марали», нет, кредит — что у Купеческого банка. Стало быть, можно ему и в деле поверить, и деньжатами его на дело ссудить; потому — уж эти денежки будут чистые, никуда опречь того, на что требуются, — не попадут». Алексеев был не из тех, кто гоняется за дешевою, но громкою и рекламною филантропией. Он и в благотворительности был прежде всего делец и практик. Бестолкового швыряния деньгами, как своими, так и общественными, на дела, скрывающиеся под маскою благотворительности, он терпеть не мог. Он не понимал грошовой милостыни, крохотных подачек, которых польза лишь в том одном, что несчастный человек продол-

жит на какие-нибудь лишние сутки агонию своего несчастья, а затем должен впасть в еще пуще прежнего отчаяние пред своею злополучной судьбой, — впасть, к удивлению и даже к негодованию грошовых филантропов: помилуйте! чего же он, неблагодарный, жалуется?!. Девизом Алексеевской филантропии был: уж помогать так помогать! Так помогать, чтоб человека сразу на ноги поставить. Словом, все, что, на здравый взгляд и практическую сметку Алексеева, стоило помощи, получало эту помощь в размерах поистине грандиозных. В таких случаях Алексеев не щадил своих собственных средств и, кликнув клич по городу, собирал громадные суммы, с миру по нитке... Городу был нужен дом для умалишенных — и город оглянуться не успел, как Алексеев преподнес ему миллион, точно роем пчел с ветру налетевший, — возникла Канатчикова дача. С каким упрямством и из каких кряжей умел Алексеев выбивать деньги, свидетельствует лучше всего только что рассказанный мною анекдот о пресловутом поклоне Алексева в ноги своему бывшему приказчику. Алексеев — и исключительно он один — настойчивый виновник пожертвования 750 тысяч рублей, результатом которого явился Баевский дом призрения. Это — все рублями, презренным металлом; но под влиянием и давлением Н. А. Алексева город получил еще подарок, никаким презренным металлом не оценимый: благодаря ему Москва сделалась центром русского искусства. Он, как душеприказчик С. М. Третьякова, настоял на том, чтобы пожертвованная городу Третьяковская галерея передана была в городское ведение теперь же, без всяких условных отсрочек и промедлений. Я лишь один раз слышал, как умело Алексеев призывал своим красноречивым словом к благотворительности внимающую ему толпу. Это было после страшного пожара на Бабьем городке. Хорошо говорил. Без всяких вычур, патетических возгласов, сентиментальных картин, расчета на слезу слушателя, просто, кратко, деловито, но таким убежденным тоном и проникнутым недавними тяжелыми впечатлениями голосом, что каждому ясно становилось: бедствие громадное; спорить о нем нечего; Бог помог не вовсе пропасть, — стало быть, люди должны докончить помощь, указанную им Провидением. А тут еще личный пример: «Жертвую пять тысяч целковых!» Московский купец довольно равнодушен к общественной деятельности, но ревнив к чести своего капитала: «Али у нас денег нет?» И там, где Алексеев клал тысячу, его капиталистические ровни старались либо идти вровень с ним, либо перешибить его жертвенною деньгою. А мизинные торговые люди тоже раскошались более пропорционально состоянию, чем это делалось при других благотворительных затеях.

Став во главе города, Алексеев восемь лет, можно сказать, буквально с Москвою «жизнью одною дышал». Работал он совершенно бескорыстно, больше того, в огромный убыток своему купеческому карману. Его единственным жалованьем была честь служить Москве. В сущности говоря, алексеевские капиталы были громадною кредитною кассою, откуда город в затруднительных случаях мог всегда черпать средства своею рукою-владыкою без отдачи. Алексеев любил представительство. Приезжают французские моряки — банкет: фирма города, деньги из кармана Алексеева. Празднества он понимал не иначе как на самую широкую и блестящую ногу. Говорят, будто это было у Алексеева популярничаньем, актом купеческого самолюбия, старым «моему ндраву не препятствуй» и «чего моя нога хочет» в новой, цивилизованной версии. Но ведь этак все и вся можно объяснить. Что нам до того, какими мотивами созидались дома для умалишенных, больницы, богадельни, училища, раз они созидаются? Лучше иметь себя-любивые мотивы и совершать общепользные дела, чем, подобно раку на мели, сидеть без осязаемой радости для себя и других, но с самыми возвышенными и самоотверженно-альтруистическими началами где-то в тайниках души.

Когда был убит Алексеев, я за фельетоны о его смерти попал, по мнению многих, в ряд врагов городского самоуправления, в поклонники и проповедники системы «хозяйского кулака», которым Николай Александрович временами действительно сжимал думу так, что она пищала.

Нет, это неправда. Поклонником кулака я никогда не был. Но есть для общественного деятеля качество еще хуже деспотической склонности к кулачной системе управления: это когда ему не хватает той энергичной смелости, что города берет и Алексеевых создает, смелости, что может порою толкнуть деятеля на превышение власти, в скачок за черту прав и полномочий, но зато находит себе вечное и резонное оправдание в классическом «победителей не судят». Есть два способа развязать запутанные узлы: или терпеливо сидеть над ними чуть не целые дни, теряя и золотые силы, и золотое время на черную и мелочную работу, или, наоборот, рвать и рубить их с размаху. Алексеев принадлежал к людям последнего типа. До него московские вопросы напоминали здание, окруженное столь сложною массою лесов, что из-за них и самого здания не видать. Идет день за днем, леса все растут и растут, здания за ними все не видать да не видать, так что оно чуть ли не делается в представлении публики мифом... Выстроится ли когда-нибудь здание, освободится ли от лесов, будет ли в состоянии красоваться без них, — кто его знает! Около московских думских дел налипали, как вред-

ный тормоз, масса мелочей, мелочишек, привязок, прицепок, проволочек, нужных и ненужных формальностей и уж бесспорно ненужной многоглаголивой болтовни. Со смертью Алексеева, умевшего тиранически сводить дебаты гласных к нулевому знаменателю, мелочная система толков, пересудов, переживаний и пережевываний возродилась в лице своих многочисленных поборников и сторонников, имевших удовольствие уцелеть в думе, пережив «алексеевский террор». У меня хранится карикатура на алексеевские заседания, набросанная одним из гласных. Н. А. Алексеев сидит, потрясая огромным звонком, и поминутно прерывает И. И. Шаховского, Катилину тогдашней думской оппозиции, ораторствующего в пользу каких-то приютов.

Шаховской. Господа гласные! Слезы вдов и сирот...

Алексеев (звонит). Пожалуйста, без меланхолии-с!

Шаховской. Город, как пеликан, питающий кровью свою птенцов своих...

Алексеев. И без аллегории-с!!

Шаховской. Но, г. голова, принципы городского самоуправления...

Алексеев. И без конституциев-с... в особенности!!!

Проживи Алексеев еще несколько лет, и московское хозяйство, вероятно, было бы им налажено настолько, что и впрямь могло бы идти дальше по инерции, путем самоуправления. Алексеев смотрел на городское управление, как на огромное частное хозяйство, требующее бесконечных практических нововведений и улучшений. Он переломал и заново выстроил пол-Москвы. Он умер на пороге к исполнению грандиозных планов: под многими из них посейчас кряхтят его преемники, потому что смерть Алексеева, погасив его энергию, обессилила думу. Это одна из печальных сторон систем управления, опирающихся на одну талантливую личность. Раньше Алексеева Москва имела уже такой опыт с Н. Г. Рубинштейном; после него его превосходная консерватория сразу захудала на целых десять лет. Тем не менее скажу снова: коллегия, конечно, вещь хорошая, но, когда речь идет о том, чтобы наладить практическое общепользное дело, я, конечно, предпочту, чтобы во главе коллегии стоял человек энергичный, хотя бы иной раз и самовластный. Кулак — слово страшное, но... право, даже кулак лучше мямлянья и распушенности, какими ознаменовываются в нашем отечестве все общественные дела. Как ни дик и груб был Собакевич, а все же у него и народ был сыт, и мебель в кабинете стояла прочная, а у гуманнейшего Манилова люди перебивались с хлеба на квас, и рядом с изящным шандалом, ставился на стол засаленный медок-инвалид.

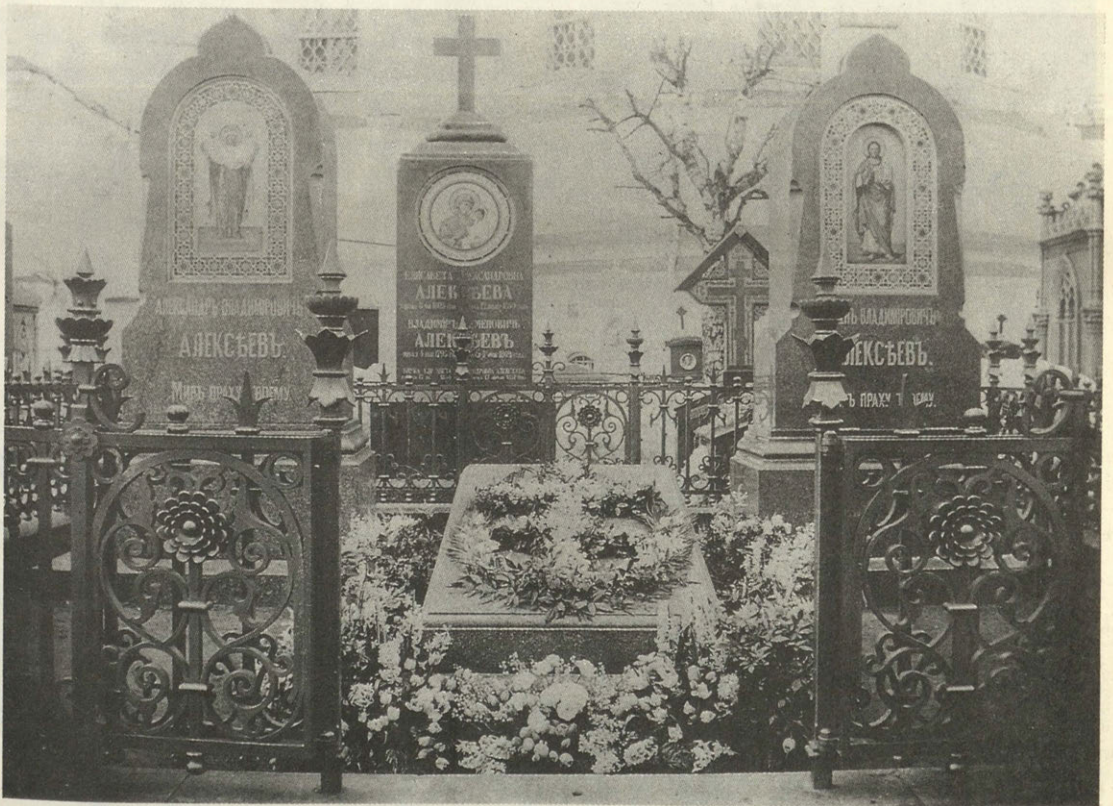
Как было мудро и трудно уживаться с ними, доказывают распространившиеся пе-

ред убийством Алексеева слухи о нежелании его оставаться на посту городского головы. Он ссылаясь именно на усталость и недовольство думскою оппозицией, — правда, пассивною, но, бесспорно, вполне состоятельною до смерти надоесть энергичному, умному, живому человеку, желающему добра и процветания города. Прежде чем он повертывал к благу колесо городского хозяйства, ему каждый раз ухитрялись подsunуть между спицами несколько палок, которые Алексееву приходилось ломать раньше, чем завертеть колесо. Бесцельные, нелепые, тупые, близорукие тормозы выплывали наружу, как масло сверх воды буквально при всяком благом начинании Алексеева: при всех его стройках, сооружениях и проектах. Алексеев всегда выходил из борьбы победителем, но — сколько энергии ему приходилось истрачивать непроизводительно в этих схватках. Не говорю уже о досаде, какую, естественно, должен был испытывать он, как человек умный, дальновзоркий и практичный, возясь с армией кротов-метафизиков, которые, стоя перед лицом насущных запросов и злободневных потребностей, наивно бросались в теоретические отвлеченности, тонкое претенциозное умничанье и самолюбивые споры, с красноречием ради красноречия. «Единовластие», введенное Н. А. Алек-

сеевым в думские дела, было тогда необходимо, так как надо же было кому-нибудь дело делать. А у нас — либо спали, либо переливали из пустого в порожнее в бесконечных дебатах «не об том», как говорил кто-то из героев И. Ф. Горбунова.

Н. А. Алексееву давало значительный перевес над большинством его оппонентов, между прочим, и то обстоятельство, что он всегда знал, к каким выводам и какими путями будут гнуть его противники, строя практику по предвзятой теории; они же его путей и выводов предвидеть были не в состоянии, как нельзя вообще предвидеть путей и выводов человека, если его мысль работает не по кодексу теоретических отвлеченностей, но в подчинении живым запросам насущных практических интересов, гибких и легко изменчивых по требованию обстоятельств. Алексеев играл с думою всегда наверняка, зная наизусть все ее карты, а свою сдачу он держал закрытою и крепко зажав ее в кулаке. Так играл и выигрывал. И так слагалась думская эпоха, которую одни зовут «золотым веком московского самоуправления», а другие, наоборот, — «алексеевским террором».

Из книги «Недавние люди»,
Спб., 1901, в сокращении.



Семейное захоронение Алексеевых на кладбище Новоспасского монастыря. Не сохранилось